

Юрий НАГИБИН О РАССКАЗЕ

В русской литературе рассказ был традиционно сильным жанром. Пожалуй, лишь американская литература приближается в этом отношении к нашей. Рассказ был главной формой самовыражения у А. Чехова, И. Бунина, почти в той же мере у Н. Лескова, А. Куприна, бессмертные рассказы оставили И. Тургенев, Л. Толстой, М. Горький, великодушными рассказчиками были Г. Успенский, А. Эртель, В. Короленко, В. Гаршин, К. Станюкович, Л. Андреев. А началось все с «Повестей Белкина» — ведь это тоже рассказы — и с непревзойденной лермонтовской «Тамани». И разве «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», и петербургский цикл Гоголя — не рассказы?

В советское время рассказ получил новый мощный импульс. В 20—30-е годы все лучшие писатели отдавали ему не меньше сил, чем роману, повести. «Гадюка» Алексея Толстого, «Отец» Валентина Катаева, «Вишневая косточка» и «Лиюм-па» Юрия Олеши, рассказы Всеволода Иванова из сборника «Тайное тайных» значили в творчестве этих писателей не меньше, чем их романы. Вспомним, что с «Донских рассказов» начал свой творческий путь Михаил Шолохов. М. Зощенко, И. Бабель были чистыми рассказчиками. И редкий талант Андрея Платонова раскрылся преимущественно в этом жанре. Превосходными рассказчиками зарекомендовали себя Иван Катаев, Николай Зарудин, Константин Паустовский, чуть позже Николай Атаров, Владимир Козин, Борис Лапин, Сергей Диковский. А какие рассказы писали поэт Н. Тихонов и драматург Б. Лавренев!

Перед войной малый жанр слегка подвяд, считалось, что великие свершения требуют для своего отображения монументальных форм, но война прекратила намечавшуюся гигантоманию. Нужен стал быстрый, немедленный отзыв на события, сильное действенное слово: даже повесть не могла поспеть за событиями, не говоря уже о романе. Успевала публицистика, и тут громадную роль сыграли фельетоны И. Эренбурга — как их ждали на фронте, как бодрили они дух, как горячили кровь своим сарказмом, гневом, неугасающей святой ненавистью к фашистской дьяволиаде! И все лишнее раз убедились, до чего ж мощным оружием может быть слово. Но требовалось и другое слово, идущее как бы мимо сознания прямо в сердце и становящееся его броней. «Броня» — назывался первый военный рассказ Андрея Платонова. Он поведал о тихом человеке, инженере, кото-

рый самозабвенно, иступленно пытался изобрести непробиваемую броню для нашей армии и не догадывался, что самая прочная броня была в его сердце — великом, преданном и непобедимом сердце истинного патриота. С этого рассказа началась удивительная военная рассказовая проза Андрея Платонова. Перед войной его почти не печатали. Но вот пришло лихо, пришла гибель и, как в сказке Андерсена, против смерти оказались бессильны раззолоченные искусственные солдаты, понадобилась серенькая птичка из теплой жизни, и она прилетела, запела и прогнала смерть.

Много появилось прекрасных рассказов в те горькие и незабываемые дни, назовем лишь лучшие: «Наука ненависти» М. Шолохова, «Русский характер» Алексея Толстого, «Март—апрель» Вадима Коженикова, «Отче наш» Валентина Катаева, «Два бойца» Л. Славина — тоже большой рассказ. И вот что важно: актуальность этих рассказов ничуть не шла в ущерб их глубине, обобщающей силе, их высокой художественности, что лишнее раз доказывает — рассказ не только разведка боем, но и самый бой, причем далеко не всегда бой местного значения. «Судьба человека» Шолохова, «Одухотворенные люди» и «Железная старуха» Платонова — всемирны и на все времена.

Но кончилась война, и наступило время глубоких, неторопливых осмыслений свершенного народом: естественно, что на первое место вышли роман и повесть, такая динамика внутри литературы вполне законна. Появилось много превосходных военных романов и осталось навсегда. Рассказ ушел в тень. Ушел настолько прочно, что это стало всерьез тревожить людей, чувствующих себя ответственными за состояние советской литературы.

К малому жанру привлекли внимание. Что это значит? Прежде всего вспомнили, что есть отряд неисправимых чудачков, которые в загоне и захудалости продолжают царапать рассказы, почти не находящие спроса, — гигантомания достигла своего пика. Их стали поминать в конце того уродливого поминальника, который в дальнейшем обрел почти официальное название: «обойма». Обязали «толстые» журналы в каждом номере давать хотя бы один рассказ, а «Литературную газету» — рецензировать отдельные новеллы. Был поддержан, отмечен и поднят наиболее яркий рассказчик тех лет Сергей Антонов. Заметили работу Б. Бедного, Д. Осина, Ю. Нагибина, эти рассказчики пошли в ход, а вскоре к ним присоединились



С. Никитин, В. Фоменко, Ф. Кнорре, С. Мелешин, окончательно перешел в стан рассказчиков В. Лидин. С приходом А. Суркова в «Огонек» этот журнал стал воистину Меккой для новеллистов, он помещал до четырех рассказов в номере, за ним тянулась «Смена» и другие «тонкие» журналы; «Библиотечка «Огонька» выпускала один сборник рассказов за другим. Гослитиздат тоже стал выпускать рассказовую серию: каждая книжка объемом в два-три листа содержала один отмеченный признанием рассказ. В «Советской России» появилась серия «Короткие повести и рассказы» — от четырех до семи листов в каждой книжке. Это было особенно важно для рассказчиков, собрать такую книжку можно и за год. Жизнь наконец-то улынулась рассказчикам, они перестали чувствовать себя изгоями. Подъем был так велик, что захватил даже поэта А. Твардовского, подарившего читателям превосходнейший рассказ «Печники».

В литературу входят один за другим все новые и новые талантливые рассказчики: И. Лавров, Г. Троепольский, Ю. Казаков, В. Астафьев, Е. Носов, В. Конечный, Г. Семенов, В. Амлинский, Г. Горышин, Н. Адамян и многие другие. Охотно обращаются к рассказу и «крупногабаритный» Григорий Бакланов. Приход каждого был замечен, порой, правда, не так, как следовало бы: погуляла критическая палица по голове талантливейшего Ю. Казакова. Но его поддержала «Правда», и звезда Казакова поднялась высоко.

Затем начались потери: одни отошли от малого жанра, другие замолкли. В начале 70-х стали поговаривать об упадке рассказа. Никакого упадка не было, достаточно сказать, что многие из перечисленных выше рассказчиков именно в эту пору создали свои лучшие рассказы, развернувшись во всю мощь таланта Шукшина-рассказчика, отличные рассказы вышли из-под талантливого пера Фазиля Искандера, появились новые имена: В. Потанин, А. Салон, И. Уханов, В. Токарева. Но рассказ лишился внимания людей, делающих литературную политику. Рассказчиков вывели из парадных комнат «большой» литера-

на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, — помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился снова к нам монахище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?». А я — сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено, — длинная веревка да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?».

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!». А он смеется хитровато, таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезать; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, — поняла ли?». Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

— Уж ты у меня хохотать любишь, — сказал мальчик тоном старшего. — А вот самовар бы поставила...

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди...

— Да и денег нету.

— Уй, ты пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чуждый и скрылся за дверью, напевая в нос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей. — Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, — полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. — Работница... как начнет паклю щипать, — хоть задохнись, такую пылицу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!». А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и все! Щиплет и поет, песен она знает тысячу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтерным голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие, — уверенно объяснил Леняка и вдруг встрепенулся. — Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой, тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака. — Леняка слушал эту музыку и тихонько-сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиной с медный пятак. Посуда на шестке стояла немой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутинах, висевшей грязными тряпками. Ленякино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорывал:

— Р-рваны!

— Сними, — сказал Леняка, вздыхая, — прогнали...

Я посадил в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудничка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, — ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, ночью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один чорт — добрый? Водовозова Катька видела чортика в погребе. — испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, — листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выдает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновницы-на кошка бежит...

Он забюро повел остренькими плечиками, взял конфетку, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и все. А — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он. — А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, — если он — с лошадью, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них...

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — огромный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротиком открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки.

— Вот она — я!

— Ло-овко, — вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. — Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никого! Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

— «Не ругайся!» Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастли-